

№ 403 Ведмица

Для духовных размышлений на предстоящую неделю

ПАВЛОВА вера

С лёгкой руки Лютера в Церкви стали спорить о том – что спасает человека для Жизни Вечной – вера или добрые дела?

Здравый смысл подсказывал – неважно, во что ты веришь или не веришь, важно – добрый ли ты, пройдёшь ли мимо человеческого горя или подашь руку помощи? Именно об этом говорил и Христос в Своей притче «О Страшном суде», на котором одним будет сказано: «Придите ко Мне, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира...» А другим: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его...» И в первом, и втором случае критерии отбора схожи: «...ибо алкал Я, и вы дали (или не дали) Мне есть; жаждал, и вы напоили (или не напоили) Меня; был странником... больным... заключённым и вы послужили (или не послужили) Мне» (Мф. 25, 31-46).

Замечательная притча, очень понятная, созвучная нашей совести, подкупающая справедливостью. Но в ней – ни слова о вере. Иисус не говорил: «Придите ко мне все верующие в Меня, и отойдите во тьму кромешную неверующие...»

Собственно и спорить не о чем, если бы не тексты посланий апостола Павла, в которых он с неизменной настойчивостью твердит о том, что спасает именно вера: «...человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа... ибо делами закона не оправдается никакая плоть...» (Гал. 2, 16-17).

Ну и вот это формальное противоречие оказалось темой для отчаянных споров – дескать, если дела не спасают, а только вера, то – уверуй в Бога Всевышнего, в Христа – воплощённого Бога-Сына и порядок! Но как же тогда Христова притча «О Страшном суде»? Да и апостол Иаков свидетельствует о том, что «вера без дел – мертва... И бесы веруют и трепещут...» (Иак. 2, 19-20).

Чаще всего недоразумения происходят на языковом уровне. Каково содержание и объём понятий, вкладываемое в то или иное слово? Вот что имел в виду Иаков под словом «вера», говоря о том, что без дел она мертва? И что – Павел, говоря, что человек оправдывается только верой?

С высказыванием Иакова проще, он тут же поясняет о какой вере идёт речь. О той, которой обладают демоны. Они признают существование Бога. В этом смысле они не атеисты. Однако от голого признания бытия Божия вряд ли большая польза.

А в нынешнем отрывке из 2-й главы послания Павла Галатам контекст проясняет совсем иное: «...Я, – пишет апостол, – умер для закона, чтобы жить для Бога... и уже не я живу, но живет во мне Христос...». Что значит, «умер для Закона»?

Слово «Закон» в устах и одного, и другого апостола означало Ветхозаветные установления – Ноевы, Авраамовы и Моисеевы. Но если, с точки

зрения Иакова, они были необходимы для христианина, то Павел, а за ним и вся Церковь, сочла их анахронизмом. Закон Моисеев, как свидетельство перводьякон Стефан, «исполнился» во Христе (не очень удачный перевод) – «отслужил своё», на самом деле, «потерял актуальность», «стал непотребным», «канул в лету». Т.е. тебя отнюдь не спасает для Жизни Вечной, если тебе обрезали крайнюю плоть. Тебя не уберегут ни кошерная еда, ни ритуальные омовения, ни суботные свечи и прочее.

Тебя спасёт вера, но не такая, какую подразумевает Иаков, отнюдь. Тебя спасает «Павлова вера».

И какая же она такая – Павлова? На этот вопрос отвечает фраза из этого же нынешнего отрывка 2-й главы Послания Галатийским христианам: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос...».

Это не простое согласие с тем, что Бог есть. Это та «вера», которая преобразует человека, делает его иным, **сотелесным** Христу. Это и «хождение пред Богом», это и следование Его Заповедям, это и Таинство Церкви, о котором говорил Иисус: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Ин. 6, 56).

Иными словами, «вера», как её понимает Павел, означает «СОСТОЯНИЕ БЛИЗОСТИ И ДАЖЕ ЕДИНСТВА ВЕРУЮЩЕГО СО ХРИСТОМ».

Не всё хорошо то, что красиво

Остановились мы в прошлый раз на том, что жить по-христиански – это не просто жить возвышенно и красиво, но в конечном итоге выгодно. Само бытие становится неисчерпаемым, потому что Бог неисчерпаем, в Боге нет никакой пустоты. А человек, хотя бы подсознательно, стремится к тому, чтобы в его жизни не было ничего пустого, вызывающего дискомфорт. Наоборот, мы стремимся к удовольствиям. Просто дело в том, что удовольствие – это последствие, а не содержание жизни. И оцениваем мы как этически адекватное, как правильное, то деяние жизни, тот или иной поступок, ещё и по тому, что оно приносит всегда удовлетворение. Парадокс только в том состоит, что в обычном случае, когда человек поступает правильно, он думает не об удовлетворении, а скорее о том, что он иначе не может. При этом принцип удовольствия – он срывает, но как прикладной – потом. Парадоксальная христианская выгода – она сказывалась даже в поступках мучеников. Их заставляли отречься от Христа, но правильнее, и, в общем, и выгоднее было этого не делать. И они ведь руководствовались не каким-то давящим долгом на них, что вот это делать нельзя, потому что просто нельзя. Было ещё такое светлое ощущение – что вот, ну как можно от Христа – от **Такого** – отречься, от Того, Который дал всё в жизни? Не просто отречься от кого-то, кого мы называем своим учителем – нет, это отречение от Света.

Это выгода ещё и в том смысле, что жизнь приобретает единственно правильные очертания – контуры вырисовываются такими, как и должны были быть. Если человек ищет прежде всего Царствия Божия – и умеет это делать, добавим от себя, потому что «ищите» – это не значит, в эмпириях пребывая, изображать из себя следопыта или, там, первопроходца. Искать – это означает осуществлять этот поиск **деятельно** в своей жизни. Что, собственно, и трудно. А остальное прилагается в том смысле, что жизнь выстраивается в соответствии с реальной иерархией ценностей.

Слова Иисуса «ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все (то есть материальное) приложится вам...» (Мф. 6:33), не стоит понимать, конечно, совсем буквально, в том смысле, что вот если человек ищет Царствия Божия, то к нему прилагается и такой дом, какой он хотел бы иметь: двухэтажный с мансардой, бассейном и экзотическим садиком. Нет, просто у него дом – на своём месте, и будет такой, с которым человек может всегда соотноситься. А надо будет – появится, наверное, и какой надо – если это **действительно** надо. Ну, и прочее, и прочее.

Но самое главное – христианство открывает горизонт движения. Сферу положительного поступка. Человеку всегда есть что делать, но не только в том смысле, что надо кормить, поить, одевать и бороться с бедностью. У христиан **всегда** есть поле для созидательной творческой деятельности, а подлинное созидание и творчество – оно замешано всегда на любви. На бескорыстной любви к Богу, в Котором вся истина. Невозможно по-настоящему творчески относиться ко всему тому, что нас окружает, ко всему тому, что нас волнует, если человек не одержим желанием вести себя в соответствии с Истиной, если сие у него не на первом месте. Любое действие, не связанное с этим хотя бы подсознательно – это уже не творчество, это уже не созидание в собственном смысле слова. Это уже некоторая игра. Ну вот, нравится – не нравится, по душе – не по душе, не вдаваясь в глубины – а подлинно ли то, что я там написал, понапридумывал, сделал? На пользу окружающим или во вред? Мне – людям нравится, хорошо продается, покупают...

И вот как раз этого измерения истины в связи с поведением, с поступком, в строгом смысле слова, в обычной, гуманистически окрашенной этике – нету. В чём принципиальная неполнота современной цивилизационной модели? Принципиальная неполнота заключается в том, что адекватность поступка оценивается не с точки зрения истины как таковой, а с точки зрения тактической целесообразности. Поэтому то, чем ты живёшь, с тем, как ты **должен** себя вести перед Богом и людьми, прямо друг с другом не связаны. Ну, и отсюда такая вот либеральная позиция – дескать, какая разница, какой человек – голубой, розовый, обычной ориентации, многоженец по убеждению, довелас, аскет, да кто угодно – ну какая разница? Главное, чтобы вел себя прилично, и все дела.

И ещё одно принципиальное разделение в рамках такой модели: то, что этически **ПРАВИЛЬНО**, принципиально не связано с тем, что **красиво**, с тем, что **нравится**, что доставляет **эстетическое удовольствие**. Нередко это даже противоположно. Этика, сфера благородного поступка, очень часто воспринимается как сфера достаточно скучная, где царствует долг, давящий на тебя. Конечно, разумный человек понимает, что никуда от него не денешься, но на первом месте именно вот он в этике. А эстетика – это сфера наслаждения, сфера приятного, это сфера раскрепощённости чувств, полёта фантазии... Ну и, казалось бы, какая тут может быть идея должностивования? Как можно, например, написать неправильную живопись? Притом, что я даже не рассчитываю её продать? Просто – мне так нравится. Я уж не говорю о том, что как можно написать не то, если это «не то» нравится не одному мне? Вот только я расскажу, что я тут накуролесил, и почему-то публике начинает это нравиться. Вот как может быть это «не то» неправильным? Зачастую вообще эстетика воспринимается как сфера, в которой никакие нормы недействительны, кроме критериев прекрасного, а они едва ли универсальны. Не законов: законы – это не эстетическая категория. Критериев.

До тех пор, пока в искусстве тоже действовали законы, пока искусство воспринималось как сфера познания, как средство осуществления человека как богосозданного существа, ещё у титанов Возрождения, например – тогда все-таки люди понимали, что к чему, и в эстетические игры не играли. Но как только это стало критерием достаточного размытого прекрасного – естественно, тут же начались в итоге размежевания по принципу – «это только мое дело, это только мое **видение**». Или – «**видение ради видения**».

Дело в том, что, с одной стороны, художник, естественно, не может делать не так, как видит. Но при этом... ну, понимаете, Достоевский писал так, как он писал. Он не обязан писать, как другой. Он пишет, как ему пишется. И Гоголь писал, как ему писалось, естественно. Но весь вопрос в другом: это писание – созидательно? Оно направлено на то, чтобы пережить нечто действительно важное для человека, действительно то, что есть очень тонкая форма соприкосновения с истиной, настолько тонкая, что иначе, как средствами художественного слова этого уже не уловишь? Верховный критерий художественности был всегда немного другой. Человек это делал не потому, что ему просто нравится: «ну, не написать ли мне романчик?» – а потому, что он не может этого не делать. Вот в **высшем** смысле – не может не писать. Чего-то не произойдет на белом свете, адекватного истине, если он этого не сделает.

Вот в этом смысле высокое искусство всегда воспринималось как жертва, как служение, которое человеку могло сжечь без остатка, если у него не было устойчивых духовных тормозов. Даже такие гиганты, сверходаренные, как Моцарт, могли буквально выгореть дотла за 35 лет. Он действительно писал музыку, потому что больше ничего вообще не хотел, и не мог не писать. И так, как умел это делать он, больше никто на белом свете, наверное, не умел. Имеется в виду – участие какой-то такой виртуозной легкости.

Моцарт, к слову говоря, загадочная фигура. Дело в том, что в этой личности очень многое сошлось. Известно, что он не оставил черновиков. И не потому, что не хотел, – у него их не было – ни одного черновика. Единственный в своем роде композитор. Ну, представить себе человека, который сразу набело написал трактат – еще можно, а композитора – гораздо сложнее, чем писателя. Гений Лев Толстой по много раз переписывал... А вот от Моцарта не осталось никаких черновиков, судя по всему, их никогда и не было. И при этом при всем человек этот был удивительно беспомощен перед жизнью, перед какими-то простыми житейскими вещами. Эта его известная легкость существования с ним и сыграла злую шутку. Он выгорел буквально. Это был уникал, один из тех немногих, которые рождаются раз в тысячу лет. Так же, как и Пушкин. Вот когда в пьесе Пушкина «Моцарт и Сальери» звучит вопрос: «Не был ли убийцей создатель Ватикана?», Моцарт эдак непринужденно говорит, что «не может быть такого, ведь он же гений, как ты или я». Он был один из тех считанных людей в истории человечества, который не мог так не сказать – не то, что имел право, а было для него слишком понятно, что это так. Или Леонардо да Винчи, тоже. Все было ему подвластно. Даже вертолёт мог бы сделать, были бы только у него все потребные для этого материалы и двигатель внутреннего сгорания. Подводную лодку – тоже, и прочее. Многие было прозрачно этому персонажу. И тем не менее – у него глубоко трагическое мироощущение. Потому, что вот эта тонкость соприкосновения с истиной носила совершенно осознанный характер. А человеку без вот таких твердых духовных ориентиров и столь феноменально одаренному очень трудно держать себя в узде, и особенно трудно не вообразить себя Творцом с большой буквы. Говорят, с Леонардо это случилось к концу жизни – он стал уже откровенно экспериментировать. Правда, и эксперименты были гениальные, вроде Джоконды, которая неслучайно писалась, как известно, 27 лет. И понятно, что это не просто портрет этой флорентийки – невозможно писать портрет не очень красивой женщины, да ещё явно выбранной не из самого высокого сословия – так, жена богатого бакалейщика, кажется, – здесь ясно, что это был грандиозный художественный эксперимент. И немного **демонического** склада эксперимент. Мережковский в свое время писал о дьявольской улыбке Джоконды.

Вот это как раз – свидетельство того, как может увести в сторону в этой сфере человека. Истина ведь такова, что она действительно требует очень тонких, иногда эфемерных тонких к себе подходов. Чему, собственно, искусство в высоком смысле слова всегда и служило, и служит. Но именно тогда оно и воспринимается как служение. И гениальные люди вроде Моцарта чувствовали, что они не просто так родились на белый свет, что у них такое отчетливое призвание, но при этом до конца смысл этого призвания могли и не почувствовать.

А между тем истина не может двойиться, она не может быть одна в сфере поступка, и другая – в сфере так называемого чистого созидания. Не бывает чистого созидания. Прекрасное – всегда доброе. И доброе – всегда прекрасное. И привыкание в добре на самом деле учит тонкости. Конечно, человек может до конца жизни не знать, за какой конец брать кисточку в руки, и почерк иметь приблизительно как «курица лапой», и никогда складно до конца не писать, как это бывает нелегко сделать любому графоману, – но, тем не менее, настоящее добро учит глубине и тонкости взаимодействия с истиной.

Поэтому настоящий христианин, христианский добродетельный человек всегда очень красив. Без преувеличения – ну, вот когда ты сталкиваешься с таковым, с Христовым человеком, наверное, высшее выражение своего восхищения перед ним – это будет слово: «красивый человек».